**Михаил КОПЕЛИОВИЧ**

**Сталин, Солженицын и еврейский вопрос**

**Опубликовано в журнале:**[**«Континент» 2003, №118**](http://magazines.russ.ru/continent/2003/118/)

***РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ***

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Михаил КОПЕЛИОВИЧ** — родился в 1937 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт, работал по специальности. Как литературный критик и публицист выступает с 1960-х гг. Печатался в журналах «Звезда», «Знамя», «Континент», «Нева», «Новый мир» и др. С 1990 года живет в Израиле.

*К выходу второго тома исследования*

*Александра Солженицына «Двести лет вместе»*

Между этими тремя «фигурантами» существуют множественные связи и пересечения.

Сталин не знал о существовании Солженицына, зато о существовании Еврейского Вопроса1 знал прекрасно и сам руку приложил к его, так сказать, постановке и разрешению.

Солженицын не единожды писал о Сталине: и в личной переписке во время Отечественной войны, и в своих сочинениях («В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», поздний рассказ «На краях»). Что касается Еврейского Вопроса, то еще не затихла полемика вокруг первой части книги «Двести лет вместе», но это отнюдь не единственное произведение Солженицына, в котором он касается этой темы.

Стоит отметить, что в 2003 году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти Сталина (март) и восемьдесят пять — со дня рождения Солженицына (декабрь). Возможно, и сто двадцать пять — со дня рождения Сталина, ибо, по некоторым данным (см. например, «Всемирный биографический энциклопедический словарь», М., 1998), он родился не обязательно в 1879 году, как раньше считалось; не исключено, что и в 1878-м. Все эти юбилеи достойны упоминания не как таковые, а в качестве свидетельства незатухающего интереса к самим юбилярам, хотя кое-кто и рад бы похоронить их в архивах российской истории. Ну, а уж Еврейский Вопрос, также отмечавший недавно два трагических юбилея собственной истории — 60-летие Ванзейской конференции, принявшей программу нацистского «окончательного решения» (январь 1942), и 50-летие расправы с еврейской интеллигенцией в Советском Союзе (август 1952) — и сам предпочел бы давно решиться. Во благо своему народу, разумеется. Да только у других народов такое, увы, не всем по вкусу...

Автор настоящих заметок ставит перед собой задачу по силе возможности выявить существующие между персонажами взаимосвязи и дать им (взаимосвязям и персонажам) адекватную, с его точки зрения, оценку.

Сразу оговорюсь, что меня занимает не проблема персонально-подсознательного отношения как Сталина, так и Солженицына к евреям, а только та позиция по Еврейскому Вопросу, которая более или менее очевидно выявилась в их выступлениях (толкуя это понятие расширительно, вплоть до судьбоносных сталинских решений). От чтения в душах, столь любезного части наблюдателей, я воздержусь.

В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын рассказывает об одном разговоре с Твардовским, состоявшемся в 1962 году (год публикации «Одного дня Ивана Денисовича» — вот, кстати, еще один юбилей, наступивший в ноябре 2002). «Подошла необходимость какой-то сжимок биографии все-таки сообщить обо мне — Т.А. (Твардовский. — *М.К*.) сам взял перо и стал эту биографию составлять. Я считал нужным указать в ней, за что я сидел, — за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. <...> Сам он долго верил в Сталина, и всякий уже тогда не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего».

Спросите себя, господа бывшие советские, особенно воевавшие с немцами, могли вы даже помыслить — не то что кому-нибудь написать — о Сталине в сильно оппозиционном духе при его жизни, тем более в годы войны? Нет, конечно. Осуждавших Сталина еще тогда, в первой половине 40-х, было — раз-два и обчелся. А уж писавших... В переписке Солженицына с его старым другом Витке­вичем (с одного фронта на другой) диктатор фигурировал под условной кличкой «Пахан», взятой из воровского жаргона, но ведь чекисты тоже наверняка употребляли этот «термин». Во всяком случае, из контекста писем им было совер­шенно понятно, кто такой этот самый Пахан. За него-то оба друга и были аресто­ваны. (Впоследствии Виткевич продался коммунистам и ради сохранения своей научной карьеры послушно оклеветал своего бывшего друга и однодельца.)

На многих страницах романа «В круге первом» Сталин является собственной персоной (конечно, в качестве художественного образа), а кое-где и «встречается» с третьим компонентом трехчлена — Еврейским Вопросом. Непосредственно Сталину посвящены подряд пять глав романа — с 19-й по 23-ю. Эти главы — сплав достоверности и гротеска, брезгливой жалости и беспощадного препарирования характера и нрава человека, чье имя склонялось всеми газетами земного шара и «запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших деснах арестантов». Но — откуда жалость? Так ведь в декабре 1949 года, в последнюю декаду которого вмещено действие романа, Сталин «был просто маленький желтоглазый старик», паршиво чувствовавший себя все последнее время. Жалость тесно сопряжена с насмешкой: этому державцу полумира «не стоило большого труда исключить себя из мирового пространства, не двигаться в нем. Но невозможно было исключить себя из времени», которое приходилось переживать как болезнь.

А. Рыбаков в «Детях Арбата» изобразил движение мысли Сталина, изобразил без малейшей иронии, что в контексте той книги было вполне оправдано. Но в результате — быть может, против воли самого автора — Сталин у Рыбакова выглядит исполином, пусть и чудовищным в своей мизантропии. Впрочем, в «Детях Арбата» — другое время: начало 30-х годов, а не конец 40-х. У Солженицына иная задача: дать контрапункт физической дряхлости и негаснущего сатанинского пламени, высмеять непомерные претензии смертного существа, земное могущество которого не отменяет его плотской, конечной природы, изумиться способности человека, вооруженного знанием слабых сторон человеческой природы, без колебаний использовать это знание во вред людям, подчинить себе миллионы и миллионы.

Вот как писатель реализует свой замысел (это лишь один пример, но таких на самом деле много):

«Положив себе дожить до девяноста, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, но просто должен домучиться еще двадцать лет ради общего порядка в человечестве.

Семидесятилетие праздновал так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова (одного из лидеров болгарских коммунистов. — *М.К.*). Только когда глаза его собачьи остеклели — мог начать настоящий праздник».

Всего четыре фразы, но в них и ирония по поводу готовности тирана пренебречь личными удобствами ради выполнения общественного (и даже общечеловеческого!) долга; и тут же, без зазора, каннибальское торжество по поводу успешного съедения еще одной политической жертвы; и сама эта фразеология, сотканная из материалов, казалось бы, не сочетаемых — стоического смирения и палаческого рыка.

В главе 20-й «Этюд о великой жизни» Сталин пускается в размышления о горькой своей доле (в концовке предыдущей главы Солженицын называет это «угнетенным строем мысли»). Его все обманывали. Сперва сам Господь Бог, над которым «в шумном Тифлисе умные люди давно уже смеялись». Потом — Революция: «Революция? Среди грузинских лавочников? — никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни». Когда же «третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию» (автор «Круга» описывает версию, согласно которой Сталин был завербован охранкой в качестве осведомителя; версия как будто не вполне доказанная, но, однако же, и не совершенно фантастическая), «для него начался долгий период безнаказанности». Но снова: охранка его обманула, и третья ставка его была бита. Грянула революция 1905 года... И так постоянно.

А в 17-м Сталин чуть было не поставил на «положительных людей» вроде Каменева, а тут наскочил «этот авантюрист, не знающий России, лишенный всякого положительного равномерного опыта, и, захлебываясь, дергаясь и картавя, полез со своими апрельскими тезисами...».

А вот и первое появление Еврейского... нет, еще не Вопроса, только предощущения: «Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом».

Вся 20-я глава — краткий курс вознесения Сталина на партийный государственный Олимп, изложенный ядовито, смешно (ведь все через восприятие героя, с использованием его, а не «своей», лексики), но и — устрашающе. «Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал (! — *М.К.*) отсекать все новые и новые вырастающие головы гидры». А за страницу до этого впервые возникает в сознании романного Сталина само слово «евреи», причем не в негативном (чего можно было ждать после «все этой шайки, которая наверх лезла, Ленина обступала», а шайка-то сплошь евреи: Троцкий, Зиновьев, Каменев и многочисленные их клевреты!), а в сугубо положительном контексте. Речь тут об изменниках в годы Отечественной войны, имя же им (в голове Сталина) — легион. «Изменили украинцы <...>; изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши — даже опора революции — латыши! И даже родные грузины, обереженные от мобилизации, — и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи».

...Мозг Сталина неутомим. Вот уже мысли его переместились в сторону русского патриотизма (глава 22). Ему «с годами уже хотелось, чтоб и его призна­вали за русского тоже». Это — раз. Второе же: «Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно утвердился он во главе этой страны и привлек сердца ее — именно он, а не все те знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты (разрядка моя. — *М.К.*) — без родства, без корней, без положительности».

Ярлык «талмудисты» Солженицын не приписывает своему персонажу, а берет его готовым из «дискуссий» 48-50-х годов, в которых он обретался рядом с другими, не менее поносным — «начетчики». Нет сомнений, что этот двучлен мог родиться в одной голове — бывшего семинариста Сосо Джугашвили.

Но подлинное пересечение Сталина и Еврейского Вопроса произошло в другой голове — Адама Ройтмана, майора КГБ, главного инженера Марфинской шарашки. А толчок тому направлению мысли прежде преуспевавшего Адама Вениаминовича, которое растравило в нем сжимающее душу кольцо обид («Кольцо обид» — так называется глава 73 «Круга», в которой описана одна ночь бедного Адама), дал визит к нему «одного давнишнего друга его, тоже еврея. Пришел он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках». Кто явился жертвой всех этих «новых»? Впрочем, как сказано дальше (не забудем: все — мысли Ройтмана), «…это не было ново. Это началось еще прошлой весной (точнее, в январе 49-го года. — *М.К.*), началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу». И поползло дальше: «...кто-то шепнул ядовитое словцо — космополит». Когда-то «прекрасное гордое слово <...> слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — жид».

Ройтману хватает ума и, главное, интеллектуального мужества, чтобы — пусть в собственном доме, в ночной тишине и только мысленно — связать новые го­нения с именем Лучшего Друга Всех Народов Мира. «Бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин». От кого принимал? — позволительно спросить. Уж не от Адольфа ли Гитлера?..­

И получается, что такова благодарность капризного диктатора одной из двух наций, которые, по его же собственному разумению, «не ждали Гитлера» и остались «верны своему Отцу» в самую страшную годину. Впрочем, он (Он!) и русских отблагодарил сходным образом.

Тут предвижу упреки со стороны специалистов по чтению в душах. Дескать, купился наивняк! Проглотил наживку с антисемитским душком! Во-первых, кому поручил Солженицын «разбираться» со Сталиным? Гэбисту, т.е. заведомо нехорошему еврею, принадлежащему к касте еврейских палачей русского народа, коих так много резвится на страницах «Архипелага ГУЛАГ». Во-вторых, того же Ройтмана и в этой же самой главе заставляет его создатель ежиться от некой юношеской истории (не выдуманной! Солженицын взял ее из собственной биографии), в которой он неправедно (таково его теперешнее ощущение) травил русского мальчика, обвиненного в антисемитских проявлениях. Вот, мол, где открылось истинное отношение писателя к Еврейскому Вопросу. И, в-третьих, разве случайно вывел он в том же «Круге» и еврея-раскулачивателя (Рубина), и еврея-стукача (Исаака Кагана), и евреев — ортодоксальных коммунистов (того же Рубина и Абрамсона)? Отметаю сии «обличения» за их смехотворностью.

Во второй части «Двухсот лет вместе» всякое появление Сталина, связанное с Еврейским Вопросом, либо прямо губительно для последнего, либо осторожно выжидательно (т.е. сугубо прагматично, при явно недоброжелательной подкладке). Правда, в ряде случаев Солженицын опирается на свои или других авторов *догадки и предположения*, но при отсутствии или сокрытии подтверждающих документов (сталинская же извечная манера) это представляется вполне допустимым. Так, утвердительно пишет Солженицын: «Сталин к концу 20-х не провел задуманной было им «чистки» соваппарата и партии от евреев...». Или, ссылаясь на материал, посвященный концу дипломатической карьеры М.М. Литвинова (автор — З. Шейнис), сообщает: «Литвинов еще пригодился в войну послом в США, а уезжая оттуда в 1943, имел смелость передать Рузвельту от себя лично письмо, что Сталин развязывает в СССР антисемитскую кампанию».

В других же случаях писатель не пренебрегает ссылаться и на официальные советские источники, а однажды — на сочинения Самого. Кстати, интересная история. В январе 1931 года мировая печать опубликовала «внезапное демонстративное заявление Сталина Еврейскому Телеграфному Агентству: «Коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми (три «не» в одной полуфразе для не слишком грамотного читателя, а тем более переводчика на другой язык — трудно постигаемое сочетание. — *М.К.*) и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»». Здесь ссылка на последний том тринадцатитомного собрания сочинений Сталина, изданного в 1946-1951 годах. «Но характерно, — комментирует Солженицын, — в советской прессе это заявление Вождя не было напечатано (по его лукавой запасливости), оно произносилось для экспорта, а от своих подданных он скрыл эту позицию, — и в СССР было напечатано только в конце 1936».

А из более поздних: «За восемь последних сталинских лет произошли: атака на «космополитов», потеря (евреями. — *М.К.*) позиций в науке, искусстве, прессе, разгром Еврейского Антифашистского Комитета, с расстрелом главных членов, и «дело врачей». По конструкции тоталитарного режима первым орудием ослабления еврейского присутствия в управлении и не мог стать никто иной, как сам Сталин, только от него мог быть первый толчок». Солженицын здесь категоричен и в этой своей категоричности, безусловно, прав. Как прав и в другом. В том, что Сталин же был и главным идеологом (если *это* позволительно именовать идеологией) соблюдения полной скрытности при проведении антиеврейских, как и многих других, мероприятий. «Отношение советской власти к евреям могло меняться годами — а почти ни в чем не выходя на агитационную поверхность». После заключения пакта Молотова-Риббентропа «не только еврей Литвинов был заменен Молотовым и началась «чистка» аппарата наркомата иностранных дел, но и в дипломатические школы и в военные академии не стало доступа евреям. Однако еще прошло немало лет, пока стало внешне заметно исчезновение евреев из наркоминдела и резкое падение их роли в наркомвнешторге». А дальше Солженицын приводит еще более характерный пример: что уже с конца 1942 года в аппарате Агитпропа наметились негласные (ну, конечно! — *М.К.*) усилия потеснить евреев из таких центров искусства, как Большой театр, московские Консерватория и Филармония, но «по секретности советских внутрипартийных движений — привременно никто не был осведомлен» об этих движениях. Ну, а уж дальше поехало-понеслось: за потеснением евреев из управленческих структур их начали гнать отовсюду, даже из инженерно-технической и научной сфер, где их вклад, особенно в Отечественную войну, был неоспорим.

Тут есть один пункт, по которому я хотел бы возразить Солженицыну. Может быть, и вправду «в зависимости от обстановки Сталин то поддерживал, то осаживал» усилия по изъятию евреев из разных областей советской жизни, но пример с Украиной, заимствованный писателем у С. Шварца (из его книги «Евреи в Советском Союзе с начала Второй мировой войны»), представляется малоубедительным. По С. Шварцу (в передаче Солженицына), с конца 1946 года обстановка на Украине «заметно изменилась в пользу евреев», а с начала 1947-го, после передачи украинской компартии «от Хрущева в руки Кагановича», евреи стали выдвигаться и на партийные посты. Возможно, отдельные такие случаи и были, но, во-первых, Каганович скорей всего евреев не столько отличал, сколь отлучал (чтобы чего про него не подумали), а во-вторых, именно в начале 47-го моего отца, по смехотворному поводу, сняли с должности директора большого научного института в Харькове, а на его место посадили «национальный кадр».

На авансцену выдвигается Еврейский Вопрос — разумеется, как его видит и представляет Солженицын. «В правительственной газете стояло: «Нет у нас еврейского вопроса. На него уже давно дала категорический ответ Октябрьская революция. Все национальности равны — вот был этот ответ». Однако когда в избу приходили раскулачивать не просто комиссар, но комиссар-еврей, то вопрос маячил». Цитата из правительственной газеты («Известия») относится к 20-м годам (в ссылке указана и дата выхода газетного номера — 20 августа 1927), так что тема раскулачивания возникает здесь несколько преждевременно. Впрочем, несмотря на этот анахронизм, по существу комментарий писателя верен. Кто-то скажет, что раскулачивать спустя два-три года приходили комиссары разных национальностей; подчеркивание участия в этом злодействе евреев — еще одна иллюстрация солженицынской необъективности. Но если взять главу «Двадцатые годы» в целом, нельзя не признать, что автор поворачивает «медаль» не только одной стороной. «Нет, власть тогда была — не еврейская, нет. Власть была интернациональная. По составу изрядно и русская. Но при всей пестроте своего состава — она действовала соединенно, отчетливо антирусски, на разрушение русского государства и русской традиции». И разве это не так? Вина евреев, если уж определять в категориях вины (не юридической, понятно, а моральной), состоит — и по Солженицыну, и по жизни — в том, что они *участвовали* в этой антирусской пляске смерти, и участвовали *активно*. «И хотя объяснять действия разрушителей национальными корнями или побуждениями — ошибочно, но и в России 20-х годов тоже неотвратимо витал вопрос <...>: почему ж «всякому, кто имел несчастье попасть в руки ЧК, предстояла весьма высокая вероятность оказаться перед еврейским следователем или быть расстрелянным им»» (цитата, в переводе, из статьи известного в 50-60-х годах Леонардо Шапиро «Роль евреев в русском революционном движении», напечатанной в Лондоне в 1962 году).

Солженицын цитирует также статью знаменитой2 Екатерины Кусковой, опубликованную в эмигрантской русской газете «Еврейская трибуна» в 1922 году (в тот год ее как раз выслали из СССР, а за год до того она, социалистка, еще успела понюхать и внутрисоветской ссылки). Кускова свидетельствует, что встречала высококультурных евреев, «которые были подлинными антисемитами нового «советского типа»». Что ж это за новый тип? Врач-еврейка жаловалась ей на то, что еврейские большевистские администраторы испортили ее прекрасные отношения с местным населением. Кускова приводит и другие примеры подобного свойства и резюмирует: «Всем этим полна сейчас русская жизнь». А Солженицын помещает сходные свидетельства и многих авторов-евреев: Д. Пасманика, Г. Ландау, даже Ю. Ларина, видного большевика, будущего тестя Бухарина.

Говоря о значительном «засорении» в 20-е годы советских властных структур функционерами еврейского происхождения, Солженицын не забывает и печально знаменитую Евсекцию, созданную еще при наркоме национальностей Сталине. Во второй половине 20-х деятельность этой организации, много потрудившейся на ниве распространения коммунистического влияния на российское еврейство и приобщения оного к соцстроительству, постепенно сошла на нет. Но уже так прикипели эти самые «евсеки» к советской власти, что и после закрытия своей «епархии» «не протрезвели, не оглянулись на соплеменников, поставили «социалистическое строительство» выше блага своего народа или любого другого: остались служить в партийно-государственном аппарате. И эта многообильная служба была больше всего на виду». И не только в 20-е годы.

Характерна — для умонастроения автора «Двухсот лет вместе» — концовка главы «Двадцатые годы». Тут приводятся выдержки из статьи современного публициста-еврея, опубликованной в 1994 году в московском журнале «Новый мир». Автор этот — Г. Шурмак — весьма неодобрительно отзывается о тех своих соплеменниках, которые на протяжении десятилетий гордились евреями, сделавшими блестящую карьеру при большевиках, а что при этом страдал русский народ, не задумывавшимися. «Поразительно единодушие, с каким мои соплеменники отрицают какую-либо свою провинность в русской истории XX века». Комментарий Солженицына: «Ах, как целительно звучали бы для обоих наших народов такие голоса, если б не были утопающе-единичны...».

Ну что ж. Что такие голоса воистину единичны *всегда* (покаяние и по определению единично, а не массово) — правда. Как правда и то, что если такие голоса звучат, хотя бы и с запозданием на полвека и более, — значит, совесть человеческая (а отсюда и народная) теплится, невзирая на чудовищное давление одичалых политических режимов, стремящихся в первую очередь сплющить индивидуальную совесть до состояния ручного зверька, принимающего корм из чужих рук...

Солженицын, как мы уже видели, отнюдь не склонен преувеличивать роль евреев в разрушении русского государства и русской традиции. Но и выступает против всякого рода попыток, диктуемых в одних случаях недомыслием, в других — желанием ускользнуть от ответственности, преуменьшения этой роли. Либо — такого ее истолкования, при котором она становится исключительно страдательной. Нельзя, утверждает он, согласиться с теми, кто говорит лишь об *использовании* евреев советской диктатурой и последующей ликвидации их, по миновании надобности. Нет, большевики если что и использовали (в своих политических, а — возможно, полагали они — и в национальных интересах самих евреев), то *рвение* своих еврейских сторонников в деле насаждения в стране большевистских порядков. «Не крепко ли они поучаствовали в разгроме религии, культуры, интеллигенции и многомиллионного крестьянства?» Тут требуется одно уточнение: религии, культуры и интеллигенции не только нееврейской, но и своей собственной.

Особенно возмутила Солженицына категорическая декларация одного из современных авторов-евреев, будто нет способа культивирования среди евреев лояльной советской элиты. «Да Боже, этот способ работал безотказно 30 лет, а потом заел. <...> И почему же 30-40 лет глаза множества евреев на суть советского строя не открывались — а теперь открылись? Что их открыло? Да вот именно в значительной мере то, что эта власть повернулась и сама стала теснить евреев. Не только из правящих и командных сфер, но из культурных и научных институтов».

Так! Конечно, кто-то открыл глаза пораньше, другие их и не закрывали (да где они все?). Но, думается, массовая динамика изменения отношения евреев к советской власти представлена Солженицыным адекватно. Именно возобновившиеся преследования, восстановленная (и увеличенная по сравнению с «проклятым царским режимом») процентная норма при поступлении в высшие учебные заведения, изгнания с более или менее ответственных должностей — привели многих лояльных и даже приязненных к существующему строю евреев к пересмотру их позиции. Еврейский Вопрос, как Ванька-встанька, завалившись на время в одной, отдельно взятой стране, вновь встрепенулся и занял свое «нормальное» положение. Антисемиты завели свою старую песню «Бей жидов, спасай Россию!», а евреи, как тот же Эренбург, не раз поминаемый Солженицыным во второй части «Двухсот лет...», начали освобождаться от кратковременной иллюзии, будто очистка человеческого сознания от вековых предрассудков при наличии на то доброй воли — плевое дело (см. «Люди, годы, жизнь», книга шестая, глава 15).

Об Эренбурге Солженицын отзывается с нескрываемым осуждением. Он приводит, например, такой факт: «В «Правде» 21 сентября 1948, в противовес триумфальному приезду Голды Меир (в качестве первого посла Израиля в СССР; кстати, она тогда звалась Голдой Меерсон. — *М.К.*), появилась большая, заказанная ему (Эренбургу. — *М.К.*), статья на тему: евреи — вообще не нация и обречены на ассимиляцию». Сам Эренбург не минует этот факт в своих мемуарах (та же глава 15 шестой книги): «В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о еврейском вопросе, о Палестине, об антисемитизме». И далее дает целую страницу цитат из статьи. Насчет того, что евреи — не нация, в них ничего не найдешь. Сказано только, что между евреем-тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, мало общего. И еще: что ощущение глубокой связи между евреями различных стран родилось как результат невиданных зверств немецких фашистов. А вот сионизм автором статьи однозначно заклеймен: его, дескать, создали евреи «националисты и мистики», а Палестину заселили евреями «те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство — за тридевять земель». Интересно, имел ли тут в виду Эренбург и тех идеологов человеконенавистничества, которые согнали евреев в Биробиджан?.. Во всяком случае, не оставляет сомнений приверженность писателя идее ассимиляции. Впрочем, и критикующий его Солженицын, признавая, что в XX веке «еврейство получало импульсы отшатнуться от ассимиляции» и что так же, возможно, будет продолжаться в наступившем XXI, охотно присоединяется к мнению русского еврея, предсказывающего неуничтожимость диаспоры и нерасчленимость того единства (с окружающими народами), которое она породила и в котором евреи и впредь должны жить и проявлять себя. Солженицын не уверен в осуществимости такого прогноза, но сочувствие его к такому развитию событий несомненно. «Движение — слиться с остальным человечеством до конца, вопреки жестким преградам Закона (еврейского, разумеется. — *М.К.*), — кажется естественным, живым».

Но вернемся к Эренбургу, ибо и автор «Двухсот лет...» еще не раз к нему возвращается. Ужасно обвинение, бросаемое ему Солженицыным по следам расправы с еврейской интеллигенцией в августе 1952-го: «И после расстрела еврейских писателей Эренбург продолжал уверять на Западе, что они — живы, и пишут». Если это действительно так...

Еще раз Эренбург появляется на страницах солженицынской книги в связи с верноподданническим письмом, готовившимся в недрах партаппарата. Это письмо должны были подписать — и, увы, подписали! — самые известные советские евреи: писатели, ученые, музыканты.

История с письмом всплывает в беседе Солженицына с главным редактором «Московских новостей» Виктором Лошаком, состоявшейся в конце декабря 2002 года. Лошак, ссылаясь на соответствующие пассажи «Двухсот лет...», констатирует: «Десятки подписей, как вы пишете, уже были собраны. Среди них Ландау, Дунаевский, Гилельс, Ойстрах, Маршак... Однако письмо это не было публиковано». Ответ Солженицына гласит: «Это письмо в «Правду» не было опубликовано, потому что дело врачей сходило на нет, и Берия начал вести свою линию. А опубликовано оно уже сейчас, в 1997 году, в «Источнике» — Вестнике архива Президента России».

В данном эпизоде, как он изложен в самой книге, роль Эренбурга представлена неоднозначно. Он «сперва не подписывал (что значит «сперва»? Ведь и после не подписал! — *М.К.*), нашел в себе смелость написать письмо Сталину». Но тут же и отмечено: «Изворотливость (в формулировках. — *М.К.*) требовалась непревзойденная». И Эренбург ее проявил: «еврейской нации нет», еврейский национализм «неизбежно приводит к измене». О, Господи!

В книге выведены и другие фигуранты, чье поведение, мягко выражаясь, было несколько сервильным. К ним относятся (помимо подписавших провокаторское письмо): «топорный карикатурщик Борис Ефимов»; дипломат Евгений Гнедин, писавший в 30-х годах обманные статьи — то о том, «как гибнет западный мир, то — в опровержение западных «клевет» о каком-то якобы насильственном труде заключенных на лесоповале»; «преданный коммунистический фальсификатор академик И.И. Минц»; а вот академик Г.И. Будкер, по собственному признанию, не спал ночами и падал в обморок от напряжения, рождая, совместно со столь же самоотверженными коллегами, первую атомную бомбу для родного государства, причем происходило это в дни преследования «космополитов».

Но есть, как мне кажется, среди лиц, обвиненных Солженицыным в безудержном сотрудничестве с советской властью, и такие, к кому наш «судья» излишне пристрастен. Это, прежде всего, кинорежиссер Михаил Калик и поэт-бард Александр Галич. Калику, несправедливо названному «благополучным» (видимо, вследствие незнания его биографии), инкриминируется написанное им уже в годы второй опалы (первая, с лагерем, пришлась на сталинскую пору, причем посажен он был по обвинению в «еврейском буржуазном национализме») письмо «К русской интеллигенции». «Как будто перебыв в СССР не в слое благополучных, а годами перестрадав в угнетенных низах...» Да так и было безо всякого «как будто»!

Что касается Галича, то он и вправду долго состоял в привилегированном слое советских евреев, был преуспевающим — вполне советским — драматургом. «Но вот с начала 60-х годов совершился в Галиче поворот. Он нашел в себе мужество оставить успешную, прикормленную жизнь и «выйти на площадь»». Более того, согласен Солженицын и с тем, что песни Галича, «направленные против режима, и социально-едкие, и нравственно-требовательные», принесли «несомненную общественную пользу, раскачку общественного настроения». Так чем же ему не угодил Галич?

«Разряды человеческих характеров почти сплошь — дуралеи, чистоплюи, сво­лочи, суки... — очень уж невылазно». Но: «при таком обличительном пафосе — ни ноты собственного раскаяния, ни слова личного раскаяния нигде!» Так уж и нигде? «А «Ночной дозор» («Я открою окно, я высунусь, / Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!»)? А «Старательский вальсок» («И теперь, когда стали мы первыми, / Нас заела речей маята, / И под всеми словесными перлами / Проступает пятном немота»)? А «Вальс, посвященный Уставу караульной службы» («Ах, как шаг мы печатали браво, / Как легко мы прощали долги!..»)? А «Уходят друзья» («Я ведь все равно по мертвым не плачу — / Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый»)? А «Баллада о стариках и старухах» («Я твердил им в их мохнатые уши, /В перекурах, за сортирною дверью: / “Я такой же, как и вы, только хуже!”...»)?

И странно читать у Солженицына упрек Галичу в том, что его сатира «бессознательно или сознательно, обрушивалась на русских, на всяких Климов Петровичей и Парамоновых...» А надо было, чтобы на евреев? Но ведь тут в зеркальном отображении видим очень странную претензию критика, изрекающего директиву самому Солженицыну, чтобы тот обратил в... еврея одного из героев (в обоих смыслах этого слова) романа «В круге первом» — или, в крайнем случае, добавил в роман «равноценный по силе образ благородного самоотверженного еврея»!

В ряде мест книги автор говорит о такой категории национальной жизни, как раскаяние. Естественно, что призыв к раскаянию обращен к обеим сторонам — и к русским, и к евреям. Я уже приводил здесь концовку главы «Двадцатые годы», с цитатой из статьи современного публициста, осуждающего соплеменников-евреев за их неготовность признать свою долю вины в русской истории XX века, и солидарный комментарий Солженицына. Теперь приведу концовку еще одной главы — «В войну с Германией»:

«Констатирует в конце 80-х годов еврейская публицистка, живущая в Германии (Софья Марголина. — *М.К.*): «Сегодня моральный капитал Освенцима уже растрачен». И она же год спустя: «Солидный моральный капитал, приобретенный евреями после Освенцима, кажется исчерпанным», евреи «уже не могут просто идти по старому пути претензий к миру. Ныне мир уже имеет право разговаривать с евреями, как со всеми остальными»3; «борьба за права евреев не прогрессивнее борьбы за права других народов. Пора разбить зеркало и оглянуться: мы не одни в мире».

До такой достойной, великодушной самокритичности подниматься бы и русским умам в суждениях о российской истории XX века — от озверения революционного периода, через запуганное равнодушие советского, и до грабительской мерзости послесоветского. В невыносимой тяжести сознания, что в этом веке мы, русские, обрушили свою историю — через негодных правителей, но и через собственную негодность, — и в гложущей тревоге, что это, может быть, непоправимо, — увидеть и в русском опыте: не наказание ли то от Высшей Силы?»

Золотые слова! Пафос всей книги Солженицына выражен в них наиболее внятно и с неподдельной искренностью. Стоит добавить, что в этой же главе автор с большим сочувствием констатирует широкое участие советских евреев в военных действиях и партизанском движении, а также делится личным опытом соприкосновения с евреями на фронте. «Знаю среди них смельчаков (далее пофамильно перечисляет солдат и офицеров, отлично воевавших рядом с ним и под его началом. — *М.К.*). Более чем реально воевал поэт Борис Слуцкий, передают его выражение: «Я весь прошит пулями»». Называет Солженицын и другие — известные и неизвестные — имена. И резюмирует: «так, вопреки расхожему представлению, число евреев в Красной армии в годы Великой Отечественной войны было пропорционально численности еврейского населения, способного поставлять солдат: пропорция евреев — участников войны в целом соответствует средней по стране».

Еще относительно раскаяния евреев за свои грехи перед русскими. В главе «Оборот обвинений на Россию» (т.е. с чекистско-большевистской власти на историческую Россию) приводятся высказывания как русофобские (Борис Хазанов: «Берегитесь рассказов о том, что в России хуже всех живут русские, пострадали в первую очередь русские»), так и... С удовлетворением отмечает писатель: «Однако перестали бы быть евреи евреями, если бы в чем-то стали все на одно лицо. Так и тут. Голоса иные тоже прозвучали. <...> К счастью для всех, и к чести для евреев — какая-то часть из них, оставаясь преданными еврейству, проняла сознанием выше обычного круга чувств, способностью охватить Историю объемно. Как радостно было их услышать! — и с тех пор не переставать слышать. Какую надежду это вселяет на будущее! При убийственной прореженности, пробитости русских рядов — нам особенно ценны их понимание и поддержка».

На этой оптимистической ноте можно было бы и закончить, но есть у меня личная причина приписать еще несколько слов. Среди тех, кого так радостно было услышать Солженицыну, упомянут кибернетик Роман Рутман, репатриировавшийся в Израиль еще в 1973 году. В нью-йоркском русском «Новом журнале» появилась его статья о начале движения за репатриацию, которую (статью) Солженицын называет очень теплой и яркой и в которой, по мнению писателя, проявлено «отчетливое тепло к России. Статья и называлась выразительно: “Уходящему — поклон, остающемуся — братство”». Это название — строчка из ныне широко известного стихотворения Бориса Чичибабина «Дай вам Бог с корней до крон..» (1971). Солженицын не фиксирует авторство Чичибабина, но, конечно же, не по незнанию. Заключаю так на основании личного письма, полученного мною от писателя в 1997 году. В нем среди прочего сказано: «Статью о Чичибабине4 (которого люблю) читал». Соединяя эти два факта, нельзя не видеть, что Чичибабина Солженицын любит, в частности, и за его юдофильство.

**Сноски:**

1  В авторском тексте оба слова в словосочетании «Еврейский Вопрос» пишутся с заглавной буквы, в цитатах — как и положено — со строчной.

2  Та самая «мадам Кускова», которую Маяковский в пародийном виде вывел в четвертой главе своей «Октябрьской поэмы».

3  Никогда мир не разговаривал с евреями, как со всеми остальными! И сегодня, спустя десять лет после появления сочувственно цитируемой Солженицыным публикации, мир — главным образом Европа (не говоря уже о мусульманской части мира) — разговаривает с евреями на языке судей Дрейфуса и обвинителей Бейлиса, а кое-кто — и на языке «Майн Кампф».

4  Вероятно, имеется в виду моя рецензия на книгу стихов «82 сонета и 28 стихотворений о любви», опубликованная в «Новом мире» (1995, № 10).